http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-2-301-314

Модест Колеров

*Николай Бердяев. Памяти А.П. Чехова (1904)**

И так уж немного вождей остается,
И так уж безлюдье нас тяжко гнетет.

С.Я. Надсон «Над могилой И.С. Тургенева»

После убийства в 1881 году императора Александра II революционерами из среды интеллигенции («семидесятниками», «людьми 70-х годов») наступила эпоха реакции, и политическая оппозиция погрузилась в глубокую депрессию, связанную не только с равнодушием народного большинства, но и с разгромом революционного подполья, легальных институтов оппозиции в прессе и обществе, отказа власти от курса на политический либерализм. Специфику эпохи реакции как эпохи *идейной и идеалистической глухоты* тонко описывал годы спустя П.Б. Струве (1870–1944), подспудно рифмуя убийство 1 марта 1881-го с революцией 1905 года. Он писал в 1910 году, во время послереволюционной депрессии, о своем поколении революционеров конца 1880–1890-х годов:

> «Для того, кто начал сознательно относиться к исторической жизни лет 20–25 тому назад, современный момент, несмотря на все различие в некоторых очень существенных чертах, не может не напоминать уже пережитой эпохи 80-х и 90-х гг. То же чувство, что пройден какой-то важный исторический перегон, и то же чувство не индивидуального угнетения, а какой-то чисто общественной бесформенности, ложащейся тяжелым гнетом на всякую личность. Слова, и самые лучше, <...> не выходят из жизни и не входят в нее, как живая сила, а идут мимо нее, остаются какими-то посторонними звуками» [1, с. 173].

Самые лучшие политические *слова*, то есть принципы и ценности публичной политики, звучали отдельно от практики, не помогая ее политической мобилизации. Средством мобилизации больше служили моральные культы и образцы, образы художественной литературы. В эти годы, особенно в конце 1880-х и позже, одна за другой последовали политически значимые кончины культурных и общественных деятелей, ставшие громкими *траурными* событиями на фоне неудавшейся новой попытки убийства императора – уже императора Александра III – 1 марта 1887 года и казни готовивших убийство народовольцев. В том же 1887 году умер С.Я. Надсон, в 1888-м – В.М. Гаршин, в 1889-м – М.Е. Салтыков-Щедрин и Н.Г. Чернышевский, в 1891-м – Н.В. Шелгунов. Их похороны и поминки стали поводом для формально траурных, но на деле политических демонстраций, которым не могли противостоять власти, понимая их политический смысл, но отступая перед общественным мнением[1]. Эти акции были не только акциями политической скорби,

[1] Когда, например, в Ялте умер Надсон, его «смерть становится апофеозом всеобщей любви к поэту: по пути следования тела [из Ялты] в Петербург его сопровождают толпы почитателей, начальник Юго-Западной железной дороги, будущий всесильный министр С.Ю. Витте, предоставляет бесплатный вагон, в Петербурге после отпевания в Троицкой церкви молодежь несет тело до Волкова кладбища на руках, над могилой звучали речи одна жарче другой» [2, с. 14].

* К исследованию революционных культов Надсона, Гаршина и Чехова.

Колеров Модест Алексеевич, кандидат исторических наук.

но попытками ее преодоления в новой мобилизации сил. К началу XX века, когда политическая реакция, продолжая репрессии, уже не смогла сдерживать явное общественное оживление и сделала первые шаги в сторону новой либерализации, самыми популярными, массово издаваемыми и коммерчески успешными писателями прошедшей эпохи стали писатель Гаршин (1855–1888, посмертно), поэт Надсон (1862–1887, посмертно) и А.П. Чехов (1860–1904), в 1880-х начавший свою писательскую карьеру. Все трое были равно отнесены критиками к героям эпохи политической реакции, «гражданской скорби» – либо как ее носители, либо как ее описатели, либо как ее выразительные знаки.

При этом если *больная общественная совесть*, бескомпромиссный идеализм, революционный романтизм и напряженная идейность, *гражданская скорбь* всегда признавались публикой особо присущими Гаршину и Надсону, – и они сами были *нашими* для революционной молодежи, то читательская судьба Чехова сложилась иначе – безыдейность обыденности, беспросветность мещанства, в которой действовали его герои, висели на его общественной репутации как приговор: *не наш*. Лишь на рубеже XIX и XX веков усилиями критических марксистов П.Б. Струве, С.Н. Булгакова (1871–1944) и Н.А. Бердяева (1874–1948), озабоченных поиском нематериального общественного идеала, Чехов был признан в революционной среде не только великим, но и *нашим великим*. Первой причиной тому был его массовый успех у читателей, которые находили в Чехове нечто большее, нежели бесконечная галерея обывательских лиц, и который простым бытописанием в духе П.Д. Боборыкина и пр. не достигался.

Успех писателей *гражданской скорби* заставлял задуматься о секрете успеха. Постфактум, из эпохи всеобщего советского просвещения и советской пропаганды, историк, признав беспрецедентный коммерческий успех Надсона у дореволюционной читающей публике, пытался уязвить его сравнением с самыми массовыми народными книгами, стоящими на грани культуры и лубка. Но, похоже, лишь похвалил Надсона этим совершенно немыслимым сравнением: «…успех Надсона держался только на интеллигентных или полуинтеллигентных читателях. В народ он не проник <…> Крылов или Кольцов расходились больше, чем Надсон. Хорошо расходилась и знаменитая сказка Ершова «Конек-Горбунок»…» [3, с. 466–467]. Сравнение поэзии *гражданской скорби* со ставшими народными баснями и сказками – это воистину максимально возможная популярность. Этот фантастический успех требовал объяснения. Известный революционер и свидетель того исторического времени П.А. Кропоткин (1842–1921) писал, обращаясь к широкому британскому читателю, в начале 1900-х годов:

> «Никогда западноевропейцу не понять глубины отчаяния и безнадежной скорби, которые охватили образованную часть русского общества в течение следующих десяти или двенадцати лет [до борьбы с голодом в 1891–1892 годах], когда общество пришло к заключению, что оно не в силах победить инерцию масс или направить ход истории таким образом, чтобы заполнить пропасть между высокими идеалами и раздирающей сердце действительностью. В этом отношении восьмидесятые годы были, может быть, самым мрачным периодом, какой пришлось пережить России за последние сто лет. <...> Чехов начал писать именно в это мрачное время, и, будучи истинным поэтом, который чувствует и отзывается на все настроения момента, он сделался выразителем этого поражения интеллигенции, которое, как кошмар, нависло над культурной частью русского общества. <...> Эта старая, уходящая от нас жизнь требовала прощального слова, и оно было произнесено Чеховым» [4, с. 343, 346].

Очевидный конец эпохи реакции на рубеже XIX и XX веков заставлял искать символы для ее идейного, то есть прежде всего образного преодоления изнутри. Молодой

еврейский политический активист В.Е. Жаботинский (1880–1940)[1] почти вторил Кропоткину в осмыслении страдающих литературных фигур, *героических жертв* периода политического упадка как символов преодоления этого упадка. Он писал:

> «Надсон через каждые пять страниц, словно чеховский подполковник Вершинин, заговаривает о надежде, о том, как хорошо будет через двести лет... Если Некрасов – поэт-гражданин, то Надсон – поэт-обыватель. <...> Некрасов был вождем, но и Надсон нес свою службу; он был сестрой милосердия. <...> Большую общественную задачу исполнил Надсон... Но тот день, когда мы отвернемся от Надсона и перестанем чувствовать его, – будет счастливым днем. Он покажет, что мы уже вышли из лазарета, потому что нам не нужна больше сестра милосердия. Тогда нам снова понадобятся вожди, обличители и каратели, и мы вернемся к Некрасову...» (Одесские новости. 1902. 29 декабря) [6, с. 616, 618][2].

Пожалуй, именно внимательный критик А.С. Глинка (Волжский) (1878–1940), также изнутри политически подавленной социалистической среды искавший путей нового идеализма, религиозной санкции для политического радикализма, первым объединил в литературный триумвират Гаршина, Надсона и Чехова [8, с. 165]. На поверхности такого объединения лежали в первую очередь громкий успех и известность каждого: посмертные массовые тиражи Гаршина и Надсона (чьи сочинения перешли в собственность Литературного фонда, и тот обеспечил ими всю читающую Россию), прижизненный громкий коммерческий успех Чехова. Но Волжский, принимая их известность как данность, не требующую объяснений, внешне объединил их (и прибегнул к модному тогда жанру «параллелей») по их ориентации на исследование «психологии» человека. Но более всего он объединил их по их исторической социально-политической функции для читательской аудитории. Гаршин, Надсон и Чехов стали революционными морально-политическими символами времени, символами преодоления политической реакции 1880–1890-х годов. И Чехов в этом ряду превратился из бытописателя – в творца идей, «художника-философа», чья «философия – в красках и образах» [9, с. 182–183]. Волжский писал:

> «Конфликт идеала и действительности существует везде, где существует нравственное сознание. <...> Для *нравственного* человека, имеющего идеалы и стремящегося к их осуществлению, конфликт этот повсюду на земле неизбежен. Русской интеллигенции он свойственен по преимуществу и в самой крайней степени. <...> Конфликт лучшей части русской интеллигенции и окружающей ее русской же действительности, в самом деле, в значительной мере обусловливается отсталостью нашей жизни и крайней развитостью нашей совести, наших нравственных требований от этой жизни. <...> Противоречие между идеалом и действительностью у русского интеллигента общественно-исторической формации... оскорбляет и мучает собой лучших героев Чехова и самого художника, не ограничивается столкновением интеллигентского идеала только с *русской* действительностью, а вообще со всякой

[1] Несмотря на свое происхождение от отца-еврея (выкреста), С.Я. Надсон не воспринимался даже русско-еврейской критикой как еврей, о чем свидетельствует уподобление русско-еврейского поэта С.Г. Фруга Надсону, проведенное Ю.И. Айхенвальдом в статье «Еврейский Надсон» (Сегодня. Рига, 1926. 18 июля): «То, что Надсон по своему происхождению был евреем, на его поэзии не отразилось; но Фруг еврей всецело…» [5, с. 138].

[2] Ср.: «В Надсоне молодая искренность... не искупает всей слабости формы и отвечающей ей скудости содержания. Успех его был (и продолжает оставаться) громадным... искренняя боль души поэта перевешивает в глазах читателей бедность и бледность выражения этой боли. Жертва эпохи общественного мещанства, подлинный “герой безвременья”, Надсон заслуживает всяческого сочувствия...» [7, с. 12].

современной действительностью, которая везде и всюду страшно далека от идеала. <...> Эта требовательность стала особенно тягостна для утомленной, обессиленной, скептически настроенной интеллигенции 80-х годов, в черную годину ее жизни... <...> Рассматривая творчество Чехова с исторической точки зрения, необходимо следует поставить его в тесную генетическую связь с эпохой 80-х гг. Своей шуйцей Чехов соприкасается с тем литературным направлением 80-х гг., которое не выдержало страшно обострившегося в эти годы противоречия идеала и действительности и поклонилось этой действительности, сознательно или бессознательно отдавшись на служение идолам реакции. <...> За другой исход из поставленной альтернативы, героический пессимизм, Чехов ухватился своей десницей. <...> Гаршин, Надсон и Чехов, все трое, но каждый по-своему изобличили и отразили в своем творчестве кризис общественного настроения 80-х гг., томления этой эпохи. <...> Конфликт идеала и действительности у Гаршина и Надсона доведен до такой крайней степени напряженности и обостренности, как и у Чехова. <...> будучи несомненно исторической, литературная работа Чехова в то же время по широте и смелости своего художественного синтеза поднимается до уровня истинно классического, условно говоря, вне-исторического творчества» [10, с. 261–263, 270, 272, 279][1].

Пока не произошла революция 1905 года, русская мысль и литература с особым усердием работали над образным строем политических идеологий, дополнительным к публицистическому «эзопову языку». Мощная инерция такого образного языка легко преодолела и революцию 1905 года, нисходя из интеллигенции в политически активные массы. Но если до 1905 года образы революционной борьбы в сознании интеллигенции служили инструментом личной и общественной мобилизации, то после – для грамотного читателя общественно-политической азбуки – эти образы становились скорее фоном революционной культуры, пантеоном ее святых (в таковом качестве они прожили и большую часть советского времени), а не лозунгами дня. Без реальной политики «эзопов язык» не только вынужденно заменял русской публицистике лозунги дня, язык политического описания и агитации, но и творчески углублял политические доктрины до философских принципов жизни, риторически помогая достраивать политические лозунги до их обоснований. Яркие примеры того, как несложные литературные образы становились знаменами политической борьбы, дали Гаршин, Надсон и даже Чехов.

«В этот яркий красный цветок собралось все зло мира... Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало, – нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир».

Так Гаршин в рассказе «Красный цветок» (1883) – по живым следам революционного убийства императора Александра II – описывал навязчивую идею безумца, заключенного в казематы. И читатели понимали это как образ правящего зла, обреченного на физическое уничтожение[2]. Сборник памяти покончившего собой Гаршина, составленный

[1] Ср.: «В глубине Чеховского художественного проникновения в жизнь <...> обнажается страшная религиозная жажда Бога» [9, с. 190].

[2] Десятилетия спустя русский социалист, но не современник эпохи реакции, рассказывал о контексте этого рассказа Гаршина с понятными искажениями, психологически верно, но хронологически ошибочно связывая образ *красного цветка как символа зла* с революционным призывом к убийству императора как центра политического зла (хотя на деле он появился после убийства как знамя верности этому убийству): «Идейный

при участии его близких друзей из семьи Герд[1], назвали «Красный цветок» [13; см. также: 14, 15]. Символ зла и тьмы Ариман широко вошел в русскую публицистику и литературу[2], а позже стал хрестоматийным в манихейской схеме Бердяева, расколовшей мир на свет Ормузда и тьму Аримана. Известнейший тогда критик, смело конфликтовавший с партийными конкурентами, но уверенно отражавший общественно-политический консенсус, Евг. Андреевич (Соловьев) (1863–1905) писал о том, во что превратился центральный образ рассказа Гаршина «Красный цветок»:

> «Только безумцы вступают в борьбу, но они не побеждают. <...> Сумасшедший рвет цветы мака, он думает, что в красном цветке живет все зло мира, обагренного кровью... <...> Для него [Гаршина] нет зла малого и зла большого, он знает лишь одно царящее зло, и этот пугающий призрак всегда пред его глазами. <...> Он жил исключительно жизнью своего сердца... Не надо никаких формул, не надо никакой правды, ограниченной и урезанной статьями и параграфами, не надо никаких укладов и строя жизни, больше всего не надо уступок неизбежности и необходимости. Нужна лишь полная свобода сердцу...» [16, с. 437–439].

Параллельно с жизнью и мифом Гаршина, страдавшего душевной болезнью и покончившего жизнь самоубийством, в русской читающей и общественно активной публике развивался миф жизни Надсона, в те же дни боровшегося со смертельным туберкулезом. Образу Надсона как мученика общественной правды сильно помогло сознательное конструирование в оппозиционной печати аналогии между его смертью и смертью Пушкина именно как «убийства», «интерпретированного как результат столкновения с самодержавным строем».

На деле смертельно больного туберкулезом Надсона, *не называя по имени*, бранил не более чем правый публицист В.П. Буренин, но «после смерти Надсона 19 января 1887 года весьма влиятельная в литературе группа народнических и либеральных литераторов стала внушать обществу, что случившееся – повторение истории пушкинской гибели. <...> массированная кампания в ряде популярных изданий сделала свое дело. <...> Например, А.П. Чехов 8 февраля писал в письме, что Надсон “был оклеветан”, а через неделю уже упоминал о “убийстве Надсона”...» [17, с. 323, 334–335]. В биографическом очерке о Надсоне, неизменно сопровождавшем многочисленные стереотипные переиздания его стихотворений, говорилось, что «в газете “Новое время” стали появляться один за другим целый ряд фельетонов г. Буренина, в которых он, не называя Надсона по имени, но уже слишком прозрачно намекая, всячески глумился над больным поэтом», и приводи-

багаж юных подвижников невыразимо скуден: отправляясь в пустыню, они берут с собой, вместо Евангелия, “Исторические письма” Лаврова <...> За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного Учителя, зовущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных социалистов обратиться к искусству <18>70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников – всюду возносится, сорванная с киота, икона Христа: Крамской, Поленов, Ге, Некрасов, К.Р., Надсон, не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. <...> И вдруг – с 1879 года – бродячие апостолы становятся политическими убийцами. <...> это срыв эсхатологизма. Царство Божие, или царство социализма, не наступило, хотя прошло уже 9 лет. Надо вступить в единоборство с самим князем тьмы и одолеть его. Помните у Гаршина, красный цветок, в котором для безумного сосредоточилось мировое зло? Как нынешние апокалиптики видят в большевизме воплощенного антихриста, так народовольцы увидели его в царе» [11, с. 50, 52].

[1] Гаршин в последние годы жизни был близок к семье общественного деятеля А.Я. Герда и его детям: Н.А. и В.А. [12, с. 361, 364, 365]. Дочь Герда – Н.А. Герд – в начале 1890-х прошла полноценную школу социал-демократического подполья и агитации вместе с будущей женой Ленина Н.К. Крупской и в 1897 году стала женой П.Б. Струве.

[2] Начало ее см. в изданной И.Д. Сытиным массовой брошюре «Война Ормузда и Аримана» (М., 1891), включившей в себя все признаки сборника-манифеста – идейную декларацию, социальный очерк, художественные аналогии к декларации.

лось мнение его врача: «Я убежден, что умерший безвременно С.Я. Надсон, несмотря на безнадежность болезни, мог бы прожить по меньшей мере до весны, или даже осени, если бы вышеупомянутый фельетон г. Буренина не был напечатан» [18, с. LXXX, LXXXII]. Но и в этой атмосфере поклонения главной была не просто личная судьба поэта, а и политическая судьба поэта-героя, поэта-ритора, которая мобилизовывала общественную среду[1]. Об этом ясно говорил критик:

> «Конечно, неизлечимая болезнь Надсона, – все равно, как такие же неизлечимые болезни Гаршина и Новодворского, сыграла огромную роль в его жизни, но... не все же объясняется одною болезнью. Драматический момент эпохи, познавшей тщету своих усилий, заменявшей веру лишь жаждой веры, сказался здесь не менее сильно. Подвиг великого отрицания [то есть прямой революционной борьбы, едва ли не террористической, как 1 марта 1881 года – *М.К.*] оказался не под силу. Но все же подвиг манил своим величием и суровостью, своими требованиями самоотречения...» [16, с. 440].

И другой критик-современник без лишних усилий и мыслительных переходов прямо соединял атмосферу *политически мотивированной несвободой* общественной неврастении с культом героев столь же неврастенического толка: «Страх жизни – это, если хотите, болезнь, но такая болезнь, которая излечивается только лишь переменой политических, общественных, экономических и нравственных условий жизни. <...> Нервная борьба эта кончается, конечно, гибелью борцов... Сходят с ума Гл. Успенский и Гаршин <...> умирают от чахотки Надсон, Новодворский, Решетников, Чехов...» [22, с. 64–65]. Их на первый взгляд пессимистический, почти декадентский пафос в восприятии тогдашних читателей чудесным образом превращался в пафос борьбы – и притом *идейной борьбы.* Антипат Надсона в молодой читательской аудитории вынужден был признать постфактум (отсекая, впрочем, Чехова):

> «Я помню, как твердили, бывало, нам на всех углах журнальных, что Добролюбов, Некрасов, Писарев, Михайловский, Южаков <...> – это честные писатели, с честными идеями, а А. Григорьев, К. Леонтьев, И. Аксаков, Фет, Достоевский, Чехов, – эти без честных идей. <...> Брюсов, Бальмонт, Мережковский – все были “нечестные”. Честными были Надсон... <...> их рекомендовалось читать и усваивать» [23, с. 824].

Даже избалованный славой писатель Леонид Андреев (1871–1919) признавал уже в 1917 году, что в прежнее время «велико было влияние Надсона на молодежь. <...> За Надсоном, как ныне за Блоком, следовали верхи ее <...> Плоха та молодежь, которая не чувствует Надсона, – сказала, если не ошибаюсь… З. Гиппиус» [24, с. 277].

При этом Надсон, при его позднейшей репутации недостаточно революционного ипохондрика, на деле давал достаточно материала для революционной риторики. Несмотря на нередкий скепсис революционных критиков в отношении Надсона, проверявших общественный идеал его поэзии на предмет соответствия риторике революционных пе-

[1] Даже весьма идеологичный в своих эмигрантских воспоминаниях П.Б. Струве, упорно нивелировавший свою революционность конца 1880-х – начала 1900-х годов, не мог не признаться: «Мы в юности, в гимназические наши годы пережили большой успех С.Я. Надсона <...> успех Надсона был и сознавался в свое время, как успех у гимназистов: мы сами, гимназисты и студенты того времени, читавшие и перечитывавшие Надсона, это понимали. <...> Я отчетливо помню, что, читая и декламируя Надсона, мы *возбуждались*, тогда как “Вечерними огнями” Фета, вышедшими в 1883 году, мы *наслаждались*» [19, с. 225]. Советский мемуарист также не мог отрицать влияние Надсона еще в начале 1900-х, говоря с напускным скепсисом, что «худосочная либерально-гражданская беллетристика и не менее худосочные стишки с перепевами Некрасова и даже Надсона были тою повседневною пищею, коей питались поневоле наши интеллигенты» [20, с. 199]. Ср. позднейшие эмигрантские мемуары, где описания были отлиты уже в формулы мемориала: «поэты толстых журналов подражали... Надсону, повторяя “гражданские” общие места» [21, с. 328].

сен, следует признать, что общественный идеал Надсона, явленный в его стихотворениях, был вполне революционным. Вот лишь несколько примеров из стихотворений Надсона, внешне превращенных в рядовой агитационный текст:

> «Сколько лживых фраз, надуто-либеральных, Сколько пестрых партий, мелких вожаков, Личных обличений, колкостей журнальных, Маленьких торжеств и маленьких божков!.. <...> А вопрос так прост: отдайся всей душою На служенье братьям, позабудь себя И иди вперед, светя перед толпою, Поднимая павших, веря и любя!..» (1881)
>
> «Так вот она, “страна без прав и без закона”! Страна безвинных жертв и наглых палачей. Страна владычества холопа и шпиона И торжества штыков над святостью идей!» (1883)
>
> «...томясь в цепях, Порабощенная, несчастная Россия... В лохмотьях нищеты, истерзана кнутом, Покрыта язвами, окружена штыками...» (1885).
>
> «Она не спит, твоя родная сторона, Она готовится к решительному бою! Все честные сердца кругом потрясены... Растет народный гнев, как буря в океане... <...> Пускай же песнь твоя, как отдаленный гром, Грядущую грозу свободно возвещает» (1884).

Ясно, что все эти слова громом звучали в годы реакции. Но в политической публицистике С.Н. Булгакова даже в начале революционного 1905 года все еще звучал голос Надсона. В статье, посвященной «кровавому воскресенью» 9 января 1905 года Булгаков с особым смыслом цитировал Надсона: обходя цензурный запрет на описание «кровавого воскресенья», Булгаков выносил в заголовок общеизвестное для сотен тысяч тогдашних читателей Надсона: *Нет на свете мук сильнее муки слова* [25]. И делал это потому, что вслед за этой первой строфой надсоновского стихотворения «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю...» (1882) («Нет на свете мук сильнее муки слова») для каждого читателя Надсона, несомненно, звучала последняя строфа: «Под грозой борьбы и пред лицом страданья... Брат, я не хочу, я не могу молчать!..». Таков был революционный призыв Булгакова словами Надсона.

Более сложным был «революционный путь» Чехова.

На смерть Чехова Булгаков в конце 1904 года отозвался публичной лекцией «Чехов как мыслитель», в которой амплуа *гражданской скорби* Гаршина и Надсона, похоронившей революцию, но сохранившей революционные надежды, всем усилием своей тогдашней эстрадной популярности, особенно в среде студенчества, превратил в амплуа мировой скорби Чехова[1], напротив, рождающей новые революционные надежды. Булгаков говорил фактически о принципиальном отличии старой революционности и новой, начинавшейся тогда революции:

> «В начале литературного поприща Чехову доставалось от современной критики за беспринципность, т.е. за то, что его литературная деятельность оставалась чужда всякого интеллигентского “направления” (известно, что подобными упреками грешил тогда даже покойный Михайловский), в последнее время за Чеховым признано было “направление”, ему было выдано свидетельство о литературной благонадежности... <...> Русская художественная литература – философская par excellence. В лице своих титанов – Толстого и Достоевского – она высоко подняла задачи и обязанности художественного творчества, сделав своей главной темой самые глубокие и основные проблемы человеческой жизни и духа. <...> Чехов является достойным выразителем этих лучших

[1] «Настроение Чехова должно быть определено как *мировая скорбь* в полном смысле этого слова...» [26, с. 145].

> традиций нашей литературы, многое роднит его с обоими ее корифеями, и после них он является писателем наибольшего философского значения. <...> В произведениях Чехова ярко отразилось это искание веры, тоска по высшем смысле жизни, мятущееся беспокойство русской души и ее больная совесть. <...> Самым ярким и замечательным произведением Чехова, в котором наиболее отразилась указанная особенность его творчества, нам представляется "Скучная история" [ее поставил в центр своего некролога, публикуемого ниже, и Бердяев – *М.К.*]. <...> Наша литература выставила ряд великих гуманистов, мы имеем Достоевского, Толстого, Гаршина, Гл. Успенского, и к их почетному лику достойно причтется имя Чехова. <...> Тема "Чехов как мыслитель" логически как частность включает в себя и тему "Чехов как гражданин": с этой стороны Чехов... далеко еще не нашел себе согласно и общепризнанной оценки. <...> Чехов представляется нам не только великим художником, но и отзывчивым гражданином, и пламенным патриотом...» [26, с. 132–133, 136–137, 143, 155].

Финал лекции Булгакова – со всеми оговорками продиктованного политической цензурой и мыслительной традицией «эзопова языка» – звучал как прямой призыв к революции во имя морального суда и покаяния:

> «Антон Павлович ушел от нас в тяжелую, чреватую грядущими событиями годину. Давно уже слышатся глухие подземные удары. Восточную сторону неба охватило багровое зарево все разгорающегося пожара. По слову Гегеля, всемирная история есть всемирный суд, и наступили дни суда над нашей родиной. Будем верить, что эти дни исторического покаяния приведут к национальному возрождению, что мы переживаем болезнь народного роста, а не слабости и упадка, муки родов, а не предсмертные судороги» [26, с. 160–161].

Итак, свободная от партийности фигура гуманиста Чехова помогала Булгакову уточнить его образ от присущего Гаршину и Надсону образа певца «гражданской скорби» в пользу явно рифмующейся с ней *мировой скорби*. И *мировая скорбь* – как переживание мировой несправедливости – ясно вводила в контекст общественной борьбы марксистский лозунг *мировой революции*. Именно поэтому *муки родов* в устах бывшего марксиста Булгакова и в сознании слушавшей его лекцию оппозиционной аудитории в Ялте и Санкт-Петербурге, прошедшей школу марксистской и вообще социалистической агитации, безальтернативно означали только призываемую Булгаковым революцию. Общеизвестно для аудитории Карл Маркс писал в своем «Капитале» (т. 1, гл. 24, §6): «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». И так аналогия *родов и революции* жила в революционной среде. Ярче всего эту аналогию договорил до экспрессионистического образа В.И. Ленин. Призывая свою партийную интеллигенцию к революционному мужеству, уже правящий В.И. Ленин в статье «Пророческие слова» (29 июня 1918 года), отталкиваясь от энгельсовского описания будущей всемирной (революционной) войны, подробно развил названный образ:

> «…революцию следует сравнивать с актом родов <...> Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. <...> Роды бывают легкие и бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму» [27, с. 476].

Булгакову, несомненно, принадлежит приоритет в помещении Чехова в такой революционный контекст. Но он, как известно, не был первым, кто поставил Чехова на службу революционной марксистской пропаганде.

Ко времени выхода в свет новонайденной и публикуемой ниже статьи Бердяева, по-

лучившего начальную славу как автор книги о Н.К. Михайловском с обширнейшим предисловием Струве, была переиздана и пребывала в продаже в составе авторского сборника Струве его давняя громкая статья о Чехове, которая вызвала известную полемику с Михайловским [28; ср. 29][1]. Здесь Струве, первым в русской марксистской критике анализируя творчество Чехова, демонстративно утверждал две внешне конфликтующие шкалы для его оценки: 1) обнаруживал в повести «интеллигентского» писателя глубокий социальный анализ того, как капиталистический город оставляет традиционную деревню позади человеческого прогресса (прямо против надежд народников на нее как источник прогресса)[2] и 2) скандально для революционера и марксиста декларировал особую идейную свободу искусства, которую, однако, рассматривал как дополнительный ресурс в борьбе за общественную свободу. Струве писал:

> «Я совсем не сторонник тенденциозного искусства, а поучающее и морализирующее искусство считаю прямо самым плохим родом, хуже которого только скучный. Но искусство должно воспроизводить жизнь во всей ее глубине и силе, со всеми совершающимися в ней переменами, перекрещивающимися и борющимися течениями и идеями. Есть идеи в жизни, их не может не быть в литературе. Есть в жизни *руководящие* идеи, должны быть они и в беллетристике» [28, с. 122].

В дальнейшей полемике с Михайловским (также переизданной в 1902 году) Струве прямо защищал «общественное» звучание Чехова и, вероятно, впервые примерял к русскому практическому марксизму формулу практического (еще более психологического, но столь ясно выраженного Гаршиным, Надсоном и Чеховым) и философского идеализма:

> «…мы не только реалисты, мы также идеалисты и идеализаторы. Идеализаторы, но не романтики, потому что идеализируем не прошлое, а силу, растущую в современной действительности. <...> в Марксе – обаятелен синтез “науки” и “порыва” <...> его идеал представляет наиболее удовлетворяющее современному научному духу соотношение “свободы” и “необходимости”. Необходимость, это – “наука”; свобода, – это “порыв”. Безразлично, как примирят свободу и необходимость – на почве ли метафизического учения Гегеля, как это делали Энгельс и Маркс и делают большинство марксистов, или на почве критической конструкции в духе гносеологического монизма» [31, с. 145].

Представляется, что в день смерти Чехова главной руководящей идеей общественной жизни России для Струве и Бердяева, явленной в их совместном с Булгаковым, Франком и другими сборнике статей «Проблемы идеализма» (1902), была идея объединения русского социал-либерального освободительного движения в борьбе за политическую свободу на *идеалистической основе* (так называемого идеалистического направления[3]), идеалистического соединения либерального «естественного права» с требованиями социал-демократического социализма. Важным моментом в этом союзе было утверждение вечной независимости социалистического идеала от материальных средств его достижения, которое должно было бы обеспечить борьбе за политическое освобождение России от само-

[1] Повесть Чехова «Мужики» была опубликована в журнале «Русская мысль» (1897). К сожалению, статьи Струве о Чехове не вошли в наиболее полную современную антологию русской критики о Чехове [30].

[2] Говоря о попытках изображения в художественной литературе культурного «превосходства города над деревней», Струве резюмирует: «…задача его [Чехова] состояла в том, чтобы правдиво и ярко показать расстояние [между городом и деревней в культурном отношении], и эта задача выполнена блестяще; так блестяще и вообще талантливо она выполнена в *первый раз* в русской литературе». Такой оценкой Струве выступил против критиков-народников, осудивших Чехова за критическое изображение крестьянства [28, с. 131, 132,142].

[3] О нем см. специально [32].

державия и социальное освобождение от капитализма и остатков феодализма – глубину борьбы за принципиальное духовное освобождение человечества.

Насколько успешно творчески продолжал в сознании интеллигенции былой революционный борющийся пафос Гаршина и Надсона скептический и ищущий Чехов, единого мнения у социалистических публицистов не было. Близкий к марксистам Евг. Андреевич отрицал такую способность Чехова:

> «Семидесятники [революционеры-народовольцы 1870-х, организаторы убийства Александра II – *М.К.*] звали к борьбе. Они обращались к совести людей, их чувству стыда, любили говорить о расплате с народом за вынесенное им в прошлом, за выносимое в настоящем <...> они обращались всегда к лучшему, что есть в человеке, старались внушить ему веру в себя и свои силы, направленные на борьбу со злом. Но когда оказались расхищенными и природа, и вера в народ, – на сцену выступили другие мотивы и, прежде всего, мотивы одиночества и непосильной борьбы. Их-то и взял себе Чехов. Призыва к борьбе у него нет» [16, с. 515].

Но бывшие идейные марксисты, а теперь – социалисты круга «Проблем идеализма» Струве, Бердяев, Булгаков, Франк[1] – полагали, видимо, достаточным призыв Чехова к высшим ценностям, чтобы они стали знаменем общественной борьбы. Близкий к Булгакову критик Волжский, также прошедший революционную школу, давал понять, что призывом к борьбе становилось уже само по себе стремление к идеалу:

> «Страх обыденщины... является одним из самых слышных мотивов Чеховского настроения, его лейтмотивом; в нем художник стремится подняться над плоскостью действительности к высотам идеала... Но Чехов не одинок в этом отношении в русской литературе. <...> Мотив этот можно уловить уже у Гоголя <...> он явственно слышится в глубоком психологическом анализе Л. Толстого... не совсем заслонен этот страх обыкновенного... у Достоевского; его можно подсмотреть в ярко блещущих картинах Тургенева… вплотную подходил к этой теме и Салтыков <...> ею томился Глеб Успенский... мучительно болел болью этих вопросов и Вс. Гаршин» [34, с. 198–199].
>
> «Изнуряющее противоречие страшного конфликта идеала и действительности <...> всегда жило в творчестве Чехова, сказываясь то благородным возмущением идеалистических порывов (“Нет, так дальше жить нельзя”), то бессильными попытками примириться со страшной властью обыденщины...» [9, с. 186].

На фоне такой традиции культ и не самых крупных творческих лиц Гаршина и Надсона был явственно *политическим*. До 1905 года, то есть в глубине реакции и отнюдь не в рядах революционеров, правый публицист и художественный критик, отстаивавший свободу искусства от политического направленства, а затем – радикальный обновитель русского радикализма с помощью свободной эстетики и религиозности, Д.В. Философов и после 1905 года вынужден был признать, что литературные вкусы публики более всего

[1] «Известно, какой отпечаток наложила на настроение и творчество Чехова реакция 80-х гг. – тот ужасный период, когда самодержавию на время удалось подавить и развратить русское общество. Чеховские типы <...> послужат будущему историку лучшей иллюстрацией для темы, которая будет озаглавлена: *растлевающее влияние самодержавия на русскую жизнь*. Но еще выше этого исторического значения стоит общественно-этическое значение Чехова. Великий искатель цельной правды, он подсматривал своим острым художественным чутьем оттенки фальши, недоговоренности и половинчатости даже в лучших стремлениях той русской интеллигенции, к которой сам принадлежал. <...> воздать должное этой могиле мы можем лишь тем, что дадим твердый зарок – мужественно и непоколебимо стоять за правду, так чтобы и в личной нравственной жизни, и в великой общественной борьбе наших дней слово никогда не расходилось у нас с делом, дело не отставало от слова» [33, с. 141].

формировались не художественными, а общественными качествами литературных текстов. И в 1910 году Философов писал, что по-прежнему публика игнорирует (если может отличить) низкое литературное качество стихов Надсона и прозы Чернышевского: «Надсон все еще выше Тютчева, а “Что делать” – “Соборян”...» [35, с. 377]. Исследователь Философова описывает характерную публичную полемику 1909 года, когда литературный критик К. Чуковский чуть не был подвергнут остракизму за недостаточно уважительные отзывы о Гаршине, и цитирует газетное изложение позиции защитников Гаршина: «Разве можно трогать литературу! Литературу трогать нельзя! Разве можно трогать Гаршина!» [36, с. 610][1]. Ясно, что для общественно активной части читателей образцовая литература и была литературой Гаршина и Надсона, а не литературой эстетической красоты.

Первой ускользнувшей из внимания библиографов публикации новонайденной статьи Бердяева редакция крупной киевской газеты «Киевские отклики», внутриполитическую и идеологическую часть которой вел известный социалистический публицист и оппонент Бердяева и сборника «Проблемы идеализма» Марк Борисович Ратнер (1871–1917)[2], предпослала уведомление: «Помещая настоящую статью о Чехове в виду интереса, ею представляемого, редакция в то же время считает своим долгом заявить, что она не разделяет воззрений автора». То есть социалистическая редакция неосторожно заявила, что ее буквально ничего, в том числе социализм и любовь к Чехову, не объединяет с Бердяевым. Настолько остра была полемика над могилой Чехова между теми, кто искал в его творчестве санкции для революционной и духовной борьбы, как Бердяев, и тем, кто ее там не искал.

Николай Бердяев. Памяти А.П. Чехова (1904)[3]

Умер Чехов... и оторвался от нас кусок нашей плоти, и образовалась рана, которая долго, долго будет сочиться... Он вошел к нам незаметно, тихо в течение нескольких десятилетий росла его писательская слава и, наконец, он сделался для нас бесконечно родным и дорогим, так что мы даже не всегда достаточно сознавали, что среди нас живет настоящий великий писатель, достойный занять место рядом с величайшими русскими писателями прошлого. Да, со смертью Чехова ушел огромный художественный талант, самый крупный в русской литературе, если не считать, конечно, Л. Толстого, и для литературы русской эта потеря огромная, ушла ее гордость; но не этим только определяется та особенная тихая печаль, которую вызовет смерть Чехова у огромной части интеллигентных русских людей. В творчестве Чехова отразилась русская интеллигентная душа, ее печаль и томление. Много лет подряд русское читающее общество, интеллигентное и полуинтеллигентное, привыкло слушать от Чехова грустную повесть о себе, в которой говорилась самая страшная, неподкрашенная правда, и это обратилось в нашу потребность, нам так трудно представить себе, что никогда уже не раздастся его милый голос, полный родной для нас печали.

Своеобразный писательский облик Чехова сложился в 80-х годах, в эпоху усталости и разочарования. И Чехов сделался певцом тоски средних вершин русской интеллигенции; несоответствие между запросами и сожалениями [sic! – *М.К.*][4] интеллигента, входящего в

[1] Коллега Философова свидетельствовал, что публика обычно пренебрегала лирической и художественной стороной поэзии Надсона, видя в нем лишь того, кто «привык твердить в своих гражданских стихах, что нужно “идти в бой с тяжелой мглой”» [37, с. 179].

[2] См. о дискуссии между Бердяевым и М.Б. Ратнером о «Проблемах идеализма», в которой Бердяев так определил свой общественный идеал: «без признания категории “свободы” социальный идеал не может быть обоснован» [38, с. 3].

[3] [39, с. 2]

[4] Вероятно, ошибка наборщика, и правильно должно быть: «пожеланиями». – *М.К.*

жизнь, и серой, засасывающей силой пошлой обывательской жизни, этот трагизм повседневной жизни сделался основным мотивом чеховского творчества. Об этом много говорилось всеми критиками и в этой своей заметке я не предполагаю на этом останавливаться, а хочу указать на менее, может быть, заметную, но более глубокую и наиболее для нас дорогую черту Чехова, которая делает тоску его философской и религиозной, и поставить его я ряду великих истинно национальных наших писателей.

В 90-х годах происходит перелом в настроении, общественная атмосфера меняется, забилась новая жизнь и послышались новые цели.

Но глубочайшая основа этой точки останется, так как источник ее не во внешних условиях жизни; вот об этом я бы и хотел сказать несколько слов. Ничем, думается мне, нельзя так почтить памяти Чехова, как напоминанием о величайшей его вещи, которая одна сделала бы его великим писателем, о его «Скучной истории», которая и будет иллюстрацией нашей мысли.

Герой «Скучной истории», знаменитый профессор, принадлежит к вершинам интеллигенции, он победитель жизни. «Мечты мои сбылись, – говорит он. – Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финал». И вот финал оказался ужасным: «все гадко, не для чего жить, а те 52 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими». Человек прожил жизнь, наполненную любимым делом и делом, которое принято считать высоким и, может быть, даже высочайшим: посвятить жизнь науке, любить ее больше всего, быть в первых рядах научных работников, добиться славы и признания, что может быть прекраснее и выше! А под конец жизни, оглядываясь назад, ученый профессор, известный всей России, завоевавший себе все и счастливый, по обыденным представлениям испытывал неизъяснимую тоску, вся жизнь его, эта «красиво, талантливо сделанная композиция», представляется ему бессмысленной. Тоска гложет не только разбитых жизнью, не нашедших себе призвания, но и устроившихся в жизни (в хорошем смысле этого слова), реализовавших свои дарования, отдавших себя работе, значение и ценность которой признают все. В чем же трагедия этого профессора, почему от рассказа его веет такой странной тоской, почему жизнь его, полная содержанием и успехами, действительно «скучная история»?

Эта «скучная история» производит необыкновенно сильное впечатление и тут затронута тема глубочайшая. Знаменитый профессор говорит, что его судьба костного мозга интересует более, чем конечная цель мироздания. В этом разгадка, почему жизнь для этого человека была, в конце концов, бессмысленна и почему такая тоска охватила его в финале жизни. «И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, ученых и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или *богом живого человека*»[1]. Это уже тоска по Боге, по смыслу жизни, которого нельзя найти в ее процессе и в ее завоеваниях. Для чеховского профессора наука была «отвлеченным началом»[2], оторванным от живого

[1] Курсив мой. – *Примеч. Н.А. Бердяева.*

[2] Термин Вл. Соловьева. – *Примеч. Н.А. Бердяева.*

сознания смысла жизни, науки своей он не умел связать с единой и верховной целью жизни, она могла наполнить жизнь, но скорее парализовала мучительный вопрос о смысле жизни, чем осмысливала ее. Интерес к «судьбе костного мозга» помещал выработать «общую идею», которая была бы солнцем жизни. Это настоящая трагедия позитивизма. Попытка заменить Бога наукой приводит к тоске безысходной, пустота от отсутствия религиозного сознания смысла жизни не может быть ничем заполнена. Тут Чехов подымается над временной общественной обстановкой и говорит о той вековечной тоске, с которою нельзя справиться одним внешним переустройством жизни. Этот мотив можно было бы проследить и на многих других произведениях Чехова. Нам особенно дорог этот глубокий идеализм Чехова, хотя и выраженный в отрицательной форме.

Покойного великого писателя часто упрекали в том, что у него нет положительных идеалов, но упрек этот всегда мне казался очень странным. Чехов великий художник и не обязан быть проповедником и обыкновенным моралистом, но он учил нас правде в потрясающей по своей простоте и искренности форме. Трудно указать писателя более смелого в своей правдивости. Если он не преподавал нам готовых идеалов, то потому, что и не мог довольствоваться малым, как многие другие. Тоска и томление по общественной правде и религиозному смыслу жизни, разлитые по всем художественным творениям Чехова, делают его продолжателем великих заветов русской литературы и создадут ему вечную память. Говорят, Чехов усиливал тоску жизни, но как сильна будет наша тоска по Чехове.

Литература

1. *Струве П.Б.* Некоторые черты нашего времени [1910] / П.Б. Струве // Patriotica : Политика, культура, религия, социализм. М., 1997.
2. *Иванова Е.В.* Забытый поэт // Надсон С.Я. Стихотворения. М., 1987.
3. *Розанов И.Н.* Книги и люди в XIX веке // Книга в России : в 2 ч. Ч. II: Русская книга девятнадцатого века / под ред. В.Я. Адарюкова и А.А. Сидорова [1925]. М., 2008.
4. *Кропоткин П.А.* Лекции по истории русской литературы [1901/1905] : Пер. с англ. В.П. Жука. М., 2016.
5. Русское общество и евреи : забытые и неопубликованные статьи Ю. Айхенвальда / публ. А. Рейтблата // Вестник Еврейского университета в Москве. № 1. М., 1992.
6. *Жаботинский Владимир (Зеэв)*. Полн. собр. соч. : в 9 т. Т. 2. Кн. 2: Проза. Публицистика. Корреспонденции. 1902 / сост. Ф. Дектор. Минск, 2010.
7. *Иванов-Разумник Р.В.* Русская литература XX века (1890–1915 гг.). Пг., 1920.
8. *Глинка А.С. (Волжский)* Очерки о Чехове. Предисловие [1903] / Волжский (А.С. Глинка). Собр. соч. : в 3 кн. Кн. 1: 1900–1905 / сост. и ред. Анны Резниченко. М., 2005.
9. *Волжский [А.С. Глинка].* На могилу Антона Павловича Чехова [1904] / Волжский // Из мира литературных исканий : Сб. ст. СПб., 1906.
10. *Глинка А.С.* (*Волжский*). Очерки о Чехове. V. [Параллели] / А.С. Глинка (Волжский) // Собр. соч. : в 3 кн. Кн. 1: 1900–1905 / сост. и ред. Анны Резниченко. М., 2005.
11. *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции [1926] / Г.П. Федотов // Собр. соч. : в 12 т. Т. 4: Статьи 30-х годов / сост. С.С. Бычков. М., 2012.
12. *Скабичевский А.М.* История новейшей русской литературы (1848–1892). М., 1893.
13. Красный цветок : Литературный сборник в память В.М. Гаршина / под ред. М.Н. Альбова, К.С. Баранцевича и В.С. Лихачева. СПб., 1889.
14. С.Я.Надсон : Сб. СПб., 1887.
15. Памяти В.М. Гаршина : Художественно-литературный сборник / под ред. Я.В. Абрамова, П.О. Морозова и А.Н. Плещеева. СПб., 1889.
16. *Соловьев Евг. (Андреевич).* Очерки из истории русской литературы XIX века. 3-е изд., испр. [1-е изд. – 1903] / вступ. ст. Петра Пильского. СПб., 1907.
17. *Рейтблат А.И.* Буренин и Надсон : как конструируется миф / А.И. Рейтблат // Писать поперек : Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М., 2014.
18. Семен Яковлевич Надсон (Биографический очерк) // Стихотворения С.Я. Надсона. 20-е изд. СПб., 1903.
19. *Струве П.Б.* О Фете – прозевала ли Россия Фета? / П.Б. Струве // Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе / [сост. Н.А. Струве]. Paris, 1981.

20. *Чулков Георгий.* Годы странствий [1930] / сост. М.В. Михайловой. М., 1999.

21. *Маковский Сергей.* Портреты современников / сост. Е.Г. Домогацкой, Ю.Н. Симоненко. М., 2000.

22. *Абрамович Н.Я.* Страх жизни [1907] / Н.Я. Абрамович // Подполье русского интеллигентства (О тупиках русского интеллигентского сознания). М., 2012.

23. *Дурылин Сергей.* В своем углу / сост. В.Н. Тороповой. М., 2006.

24. *Андреев Л.* Надсон и наше время (К 30-летию со дня кончины) / публ. В. Чувакова и А. Руднева // Вопросы литературы. М., 1994. Вып. III.

25. *Булгаков С.Н.* Без плана: <…> Нет на свете мук сильнее муки слова // Вопросы Жизни. СПб., 1905. № 1.

26. *Булгаков С.Н.* Чехов как мыслитель [1904, 1910] / С.Н. Булгаков // Сочинения : в 2 т. Т. 2 : Избранные статьи / сост. И.Б. Роднянской. М., 1993.

27. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1974.

28. *Струве П.* «Мужики» г. Чехова [1897] / Петр Струве // На разные темы (1893–1901 гг.) : Сб. статей. СПб., 1902.

29. *Струве П.Б.* Скорбь. Памяти А.П. Чехова / П.Б. Струве // Дух и слово : Статьи о русской и западно-европейской литературе / [сост. Н.А. Струве]. Paris, 1981.

30. А.П. Чехов: pro et contra : Творчество А.П. Чехова в русской мысли конца XIX – нач. XX в. (1887–1914) : Антология / сост. И.Н. Сухих. СПб., 2002.

31. *П. Струве.* «Мужики» Чехова и г. Михайловский [1897] / Петр Струве // На разные темы (1893–1901 гг.) : Сб. статей. СПб., 1902.

32. *Колеров М.А.* Сборник «Проблемы идеализма» (1902) : история и контекст. М., 2002.

33. *Колеров М.А.* С.Л. Франк о смерти Чехова: Н-ч. Памяти А.П. Чехова (1904) / М.А. Колеров // Новые публикации документов по истории русской мысли. Ч. 2 // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018.

34. *Волжский [А.С. Глинка].* О мотивах страха смерти и страха жизни. Леонид Андреев / Волжский // Из мира литературных исканий. СПб., 1906.

35. *Философов Д.В.* П.Д. Боборыкин (1860–1910 гг.) / Д.В. Философов // Критические статьи и заметки, 1899–1916 / сост. О.А. Коростелева. М., 2010.

36. *Коростелев О.А.* Примечания // *Философов Д.В.* Критические статьи и заметки, 1899–1916. М., 2010.

37. *Перцов П.* Литературные воспоминания 1890–1902 гг. М. ; Л., 1933.

38. Литературно-артистическое общество // Киевские отклики. Киев, 1903. № 29. 19 декабря.

39. Киевские отклики. Киев, 1904. № 227. 17 августа.